

К О В Ч Е Г

Эдуард Сероусов



Эдуард Сероусов

Ковчег

«Автор»

2026

Сероусов Э.

Ковчег / Э. Сероусов — «Автор», 2026

Сельский ветеринар Нина, всю жизнь верившая, что «сохранить — значит спасти», после смерти сестры воспитывает племянника-подростка Сеню. Однажды на рассвете над районом бесшумно встаёт серая громада в четверть неба. Это не вторжение — это автоматический ковчег, откликнувшийся на давнее послание человечества и принявший планету за гибнущую биосферу, которую нужно законсервировать. Пока машина методично поднимает в небо коров, детей и целые кварталы, старый ксеноэтик Марк Лем ищет способ отозвать сорокалетнее приглашение, а проповедник Кирилл зовёт человечество принять «милость» вечного сохранения. Нине предстоит понять, чем спасение отличается от заморозки, и решить, что дороже — вечность или живая рука в её ладони.

© Сероусов Э., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Часть первая	6
Часть вторая	11
Конец ознакомительного фрагмента.	13

Эдуард Сероусов

Ковчег

«Мы, живущие, посылаем вам образ живого — чтобы, если мы не сумеем сберечь его, сберегли вы». — из «Воззвания о сохранении биосферы», отправленного человечеством к звёздам

Часть первая

Нина просыпалась теперь в четыре — не от сна, а из него, будто кто-то мерно и без злобы выталкивал её на поверхность и держал, чтобы не нырнула обратно. Шесть недель, как сестры не было. Шесть недель, как в доме появился чужой пятнадцатилетний человек, который спал за стеной так тихо, что она вставала проверить, дышит ли.

Она не включала свет. Дом она знала на ощупь, как знают тело больного животного: где скрипнет, где холодит из-под двери, где на комод лежат Маринины очки, которые никто не убрал. Нина сварила кашу, потому что кашу можно сварить, и разложила на клеёнке то, что поддавалось раскладыванию: таблетки для соседской собаки, ключи от клиники, список на день. Список успокаивал. В списке всё было живо и под присмотром.

Марину список бы не спас. Сестра никогда не значилась в Нининых столбцах доз и сроков — Марина была из тех, кого не убережёшь: смеялась в голос, любила неосторожно, водила быстро и жила так, будто запаса ей отпущено на троих. Нина держала её на безопасном расстоянии двух звонков в неделю — так держат в дьюаре хрупкое, чего бояться коснуться лишний раз. А в одну среду телефон не ответил, и в четверг чужой голос сказал в трубку «инсульт», и «сорок один», и «ничего нельзя было». Нина, спасавшая по восемь жизней на дню, узнала последней в семье — потому что берегла себя расстоянием и доберегла до того, что не успела проститься.

Сеня вышел к половине шестого — в наушнике, с телефоном на шнурке через шею, и телефон смотрел на неё раньше, чем сам Сеня.

— Каша, — сказала Нина. — И надень что-нибудь. На улице шесть градусов.

— Я снимаю утро, — сказал он, не опуская объектив. Красная точка записи тлела снизу, как уголёк. — Тётъ Нин, скажи что-нибудь для истории.

— Убери от меня это.

— Это документ. — Он всё-таки сел, подтянул к себе тарелку, но есть не стал, а поставил телефон на солонку так, чтобы в кадре была и каша, и её руки. У Нины были руки ветеринара: коротко стриженные ногти, ссадина у большого пальца, кожа, отмытая до сухости антисептиком. Она не любила, когда снимали руки. Руки говорили лишнее.

— Сегодня из дома — только со мной, — сказала она. — В десять прививки в Заречье, потом банк. Вернёмся к обеду. Уроки по литературе я тебе распечатала.

— Ты меня по часам разложила.

— Я тебя берегу.

Он наконец посмотрел на неё поверх экрана — прямо, коротко, и в этом взгляде было столько взрослой усталости, что Нина отвела глаза первой.

— Мама тоже берегла, — сказал Сеня. — А я всё равно всё пропустил.

Он не пояснил, что пропустил. Ему и не надо было. Нина знала — от Марининой соседки, не от него, — что последний их разговор мальчик снимал: держал телефон, а не руку. И теперь у него было тридцать восемь секунд матери на экране и ни секунды в памяти, которой можно доверять.

Она хотела сказать что-то, от чего стало бы легче им обоим, и не нашла. Слова у неё всегда уходили в процедуру: доза, срок, режим. Живое между людьми она замораживала так же аккуратно, как образцы в банке, — чтобы не испортилось, чтобы дождалось лучших времён. Лучшие времена всё не наступали.

Она попробовала всё-таки — раз в день она заставляла себя пробовать.

— В школе я договорила, — сказала она. — С понедельника, если захочешь. Там кружок, медиа какой-то, монтаж. Тебе, может, зайдёт.

— Угу.

— Или не ходи. Как решишь.

Он не ответил. На стене за его спиной висели Маринины часы — сестра любила крупные, вокзальные, чтобы время было видно из любого угла. Часы шли. Их никто не остановил, и это казалось Нине неправильным: в доме, где остановилось всё, они одни продолжали, отсчитывая пустое. Она собиралась их снять и не снимала — как не убрала очки с комода, как не отдала Маринины кофты. Убрать вещь значило согласиться. А Нина не умела соглашаться с тем, чего нельзя исправить; она умела замораживать и ждать, и в этом была вся её вера — что для всего однажды настанут лучшие времена, надо только сберечь до них то, что есть.

Сеня доедать не стал. Он никогда не доедал — оставлял ровно половину, будто на кого-то ещё.

За окном сменился свет.

Не рассвет — рассвет шёл с другой стороны, из-за фермы, розовый и честный. Этот пришёл с северо-запада, из-за леса: ровный, без источника, цвета снятого молока. Он не разгорался и не гас. Он просто был — как будто кто-то очень далеко и очень спокойно включил над миром лампу и забыл про неё.

Нина встала. Каша осталась стынуть.

Птицы молчали. Она поняла это не сразу, а как понимают отсутствие — по тому, что чего-то не хватает под кожей. В шесть утра в конце сентября двор должен звенеть синицами и галками над фермой. Двор не звенел. В тишине было слышно, как гудит холодильник и как Сеня, забыв про кашу, тихо поднимает телефон и разворачивает его к окну.

— Тётъ Нин, — сказал он очень ровным, очень молодым голосом. — Что это?

— Не знаю, — сказала Нина.

Это была правда, и от правды у неё заохолодели пальцы.

Банк редких пород сидел на отшибе бывшей племстанции — приземистое здание с двойными дверями и генератором во дворе, единственное место в районе, где Нина чувствовала, что делает что-то большее, чем колет и зашивает. Она приехала, потому что не приехать не могла: в дьюарах на её ответственности лежало то, чего в мире оставалось всё меньше.

Сеня увязался — она не оставила бы его дома одного и под лампой этого неба. Он снимал всё: заиндевевшие крышки сосудов, ряды соломин в кассетах, пар, что оседал на её перчатках, когда она открывала азот.

— Держи руки от стекла, — сказала она, не оборачиваясь. — Тепло — это заражение.

Она вынула кассету. В тонких, не толще спички, соломинах спало то, что она называла про себя «весь костромской скот на чёрный день»: эмбрионы, семя, клетки быка Грома, которого прошлой весной свезли на бойню, потому что он стал невыгоден. Гром был невыгоден и мёртв. Гром был здесь, в минус ста девяносто шести, и мог однажды снова топтать луг. Нина верила в это спокойно и твёрдо, как верят в вещь, ради которой стоит вставать.

В этом и был для неё весь смысл банка. Мир каждый год делался беднее на несколько имён — пород, линий, кровей, которые переставали быть выгодны и потому переставали быть. Снаружи Нина не могла остановить это, зато могла внутри: отобрать, охладить, описать, уложить в минус сто девяносто шесть, где ничего не портится и ничего не идёт дальше. Пусть подождут лучших времён. Она искренне называла это спасением и ни разу за все годы не задумалась, спросила ли хоть одного из своих быков, хочет ли он ждать.

— Записываю на всякий случай, — сказал Сеня из-за плеча. — А это ещё они или уже нет?

— Кто?

— Ну быки твои. Клетки. Это ещё бык или уже просто... файл?

Нина закрыла кассету и опустила её в азот. Пар пошёл вверх, лизнул перчатку.

— Это его жизнь, — сказала она. — Мы её сохранили.

— Я не про жизнь, — сказал Сеня. — Я про то, он это или не он. — Он пожал плечами и снова спрятался за красную точку. — Проехали. Философия.

— Это он, — сказала Нина, слишком поздно и слишком твёрдо, будто убеждала себя. — Пока он здесь, в холоде, — он есть. Значит, не всё потеряно.

— Ага, — сказал Сеня. — Только не топчет луг, не бодается и не помнит, что он бык. Лежит соломинкой и ждёт. — Он опустил телефон, и на секунду это был не колючий подросток, а очень уставший человек. — Как ты.

Она не нашлась, что ответить, и разозлилась на это больше, чем на вопрос. Ответ был очевиден и почему-то не выговаривался.

Она заставила себя вернуться к работе: проверила уровень азота в дьюарах, сверила журнал, подписала новые соломины ровным своим почерком — порода, линия, дата. Руки делали привычное, и от привычного отпусало. Банк она любила за тишину особого рода — не мёртвую, а отложенную: здесь ничто не дышало, но всё, в её понимании, было живым — три тысячи имён спали в парах азота и ждали, когда их разбудят. Сеня бродил вдоль стеллажей, светил телефоном в изморозь на крышках, и синий отсвет его экрана скользил по рядам, как вода. На минуту стало почти спокойно: двое живых в холодном доме уснувших, низкий деловитый гул азота — и никакого неба над головой.

Телефоны зазвонили одновременно — её и его, — и это было так неправильно, так против всех привычек тихого утра, что Нина уронила крышку дьюара. По району шло сообщение, которое рассылают, когда не знают, что рассылать: всем оставаться дома, не приближаться, сохранять спокойствие. А под ним, в районном чате, куда писали про потерянных коз и подорожавший комбикорм, кто-то выложил три слова без запятых и заглавных: «над заречьем что то встало».

Оно встало над лесом за рекой.

Нина остановила машину на гриве, откуда открывалось Заречье, потому что дальше ехать было нельзя — не по правилам, а по чему-то в груди, что упёрлось и сказала «стой». Отсюда было видно всё, и лучше бы не было.

Над лесом, заслоняя четверть неба, висела громада. Не тарелка, не сигара — ничего из того, что рисуют. Ближе всего — гора: серая, ровная, без единого блика, будто свет по ней стекал и не задерживался. Она не гудела. Она вообще ничего не делала со звуком, кроме одного: рядом с ней звука не было. Нина открыла дверь, и в уши вошла вата. Отсутствие давило на перепонки изнутри, как на глубине.

— Воздух густой, — сказал Сеня. Он стоял у капота, задрал телефон, и голос его доходил будто через подушку. — Тётъ Нин, слышишь, какой воздух густой?

Воздух был густой. Он стоял в горле, тёплый и наэлектризованный, как перед грозой, только грозы не будет — это Нина знала так же ясно, как знала минус сто девяносто шесть. Волоски на её руке приподнялись и держались. На дальнем поле, у самой тени громады, коровы сбились в угол и давили друг друга на изгородь, беззвучно, страшно, как в выключенном телевизоре.

Нина стояла и не могла сделать простого — отвести глаза. В ней, ветеринаре, знавшем повадки всякой твари, поднималось звериное: беги, уводи молодняк, эта тень не торгуется. Громада не грозила. В том и был ужас — она висела над рекой так же спокойно, как висит потолок над спящим, и от этого спокойствия хотелось быть вместе с тем, кто уже был внизу. Нечто пришло и заняло четверть неба, и небо не сопротивлялось, и никто не спросил у неба, согласно ли оно.

Радио в машине зашуршало и смолкло на полуслове — диктор ещё выговаривал «просьба сохранять», когда голос его втянуло в ту же вату, что глотала птиц. Нина глянула на телефон: шкала сети не искала, а просто погасла, будто аппарат уснул. Всё, что умело говорить, рядом с громадой замолкало.

Она попятилась к дверце, не отводя взгляда от серого. За годы работы она научилась читать зверя по мелочи — по холке, по заложенному уху, — и сейчас весь мир стоял так, как встаёт животное перед тем, кто крупнее и не голоден: не в панике, а в древнем, безнадёжном признании чужого верха. Коровы на поле перестали давить изгородь. Они замерли разом, повернув морды к громаде, как замирает скот перед грозой, — только грозой не пахло. Пахло озоном и чем-то сладковатым, металлическим, как от разрезанного яблока, оставленного темнеть на столе.

— Садись в машину, — сказала она.

— Подожди, я такое не переснять никогда...

— Семён. В машину.

Он услышал имя и обернулся. И, кажется, впервые за шесть недель послушался её не из вежливости, а потому что в её голосе было то, чего он не слышал даже на похоронах: не забота, а страх.

Они не успели.

Внизу, там, где грунтовка сбегала к первым домам Заречья, уже стояли люди. Так стоят на пожаре — не двигаясь, повернув лица к огню, потому что от такого нельзя отвернуться. Нина спускалась к ним против всего, что колотилось в ней, потому что среди людей была её работа, а работа держала.

Люди на грунтовке вели себя, как всегда ведут перед необъяснимым, — врозь. Кто-то стоял на коленях в пыли и молился вслух, торопливо, будто боясь не успеть. Кто-то снимал на телефон, вытянув руку, и повторял «это фейк, это точно фейк», пока губы не побелели. Старик Пахомов вынес из дома старую двустволку и держал её у бедра, не поднимая: он и сам понимал, как это глупо против горы в полнеба, и не мог иначе — ружьё было единственным его ответом на всё, чего он не понимал за семьдесят лет. Нина шла между ними и уже знала — не умом, а спиной, — что через несколько дней эти же люди разойдутся по разные стороны неодолимой черты: одни пойдут бить, другие молиться, третьи — проситься внутрь. А пока их держала вместе последняя общая секунда, когда ещё можно было думать, что показалось.

Тень громады накрыла крайние дворы, и в этой тени зажёгся свет — снизу вверх. Не луч и не столб; скорее — размягчение воздуха, коридор, по которому вещи вдруг переставали быть тяжёлыми. Первыми пошло стадо. Три десятка коров с ближнего луга поднялись разом, беззвучно, ногами вниз, растопырив копыта над землёй, и это было так противно природе, так тихо, что кто-то в толпе завыл — просто чтобы вернуть в мир звук.

Вой подхватили — не словами, а горлом, как воют псы на сирену, потому что горлу надо хоть что-то делать. Кто-то бросился к домам, кто-то, наоборот, к свету, вытянув руки, будто там, наверху, могли передумать и вернуть. Старик Пахомов вскинул двустволку и выпалил в серое дно — раз, другой; дробь ушла вверх и не долетела, растворилась, не оставив ни отметины, ни внимания. Громада не заметила выстрела так же, как не замечают комара за окном идущего поезда.

Нина увидела Любу от почты, соседку, с которой они вместе прошлой зимой отхаживали телёнка. Люба держала на руках Митьку, четырёхлетнего, в расстёгнутой курточке, и за ноги её путался пёс, рыжий кобель Верный, и Люба пятилась от света, зажимая сыну лицо ладонью.

Свет дошёл до них мягко, без толчка.

Нина потом не могла вспомнить, кричала ли она. Кажется, нет. Кажется, она, как все, просто смотрела — то, что происходило, шло медленно и было почти красиво, и красота отнимала голос. Свет не хватал. Он поднимал бережно, как поднимают уснувшего ребёнка, чтобы переложить в кровать, — и от этой бережности было во сто крат страшнее, чем от когтей.

Верный поднялся первым, перебирая лапами, будто плыл. Потом дрогнула и пошла вверх Люба — и в последнюю долю, в тот несобираемый обратно миг, руки её удержались за землю, а сын не удержался. Митька выскользнул из расстёгнутой курточки, как выскальзывает из рукавов, кого поднимают под мышки, — вверх, отдельно, легко. Курточка осталась у Любы в руках. Люба упала, потому что земля её не пустила, а сын поднимался — маленький, в одной футболке, тянущий к матери руки, беззвучно открывающий рот, — и поднимался пёс, и стадо, и всё это уходило в тёплом столбе в серое дно громады.

Люба вскочила и побежала. Босая, с курточкой в кулаке, она бежала под уходящей тенью, задрал лицо, и кричала одно и то же имя, и крик её был единственным звуком на весь мир — он не отдавался эхом, потому что эху не от чего было оттолкнуться. Она бежала, пока не кончилось поле. Дальше была река, а над рекой — уже ничего, только серое, ровное, спокойное, что не сделало ей ни больно, ни зла, а просто взяло и понесло сохранять.

Часть вторая

К вечеру третьего дня у мира прорезался голос, и голос этот принадлежал человеку, которого десять лет держали за городского сумасшедшего.

Нина смотрела на него с кухни, не выпуская из поля зрения дверь в комнату, где не спал Сеня. По всем каналам, поверх дикторов, поверх молитв и военных сводок, шёл один и тот же немолодой мужчина в свитере не по размеру, с лицом человека, который наконец получил слово и знает, что лучше бы не получал. Внизу бежала подпись: «Д-р М. Лем, ксеноэтик».

— Это не вторжение, — говорил Лем, и руки у него подрагивали, и он их прятал. — Пожалуйста, перестаньте искать в этом умысел. Умысла нет. Это хранитель. Автоматический ковчег, каких, вероятно, в Галактике многие тысячи. Он находит биосферу, которую сам определяет как гибнущую, и делает единственное, на что запрограммирован: берёт репрезентативные образцы и консервирует их. Он не убивает. Он... — Лем запнулся и посмотрел прямо в камеру, будто в глаза каждому. — Он спасает. В том смысле, который вложили в это слово те, кто его послал. И, боюсь, в том смысле, который однажды вложили в него мы.

— Сорок лет назад мы составили послание, — продолжал Лем, и голос его сел до шёпота, который почему-то было слышно лучше крика. — «Воззвание о сохранении биосферы». Каталог всего живого на Земле, наши доклады о вымирании и — как венец гордости — инструкцию, как нас сохранить, если мы не справимся сами. Мы отправили это к звёздам и назвали жестом доброй воли. — Он помолчал. — Это была заявка. Заполненная форма с галочкой в графе «биосфера под угрозой». Мы вообразили себя собеседником и не допустили простой мысли, что откликнуться может не собеседник, а исполнитель. Автомат, который понимает буквально. И я знаю это точнее многих, потому что держал перо. — Лем снял очки, и лицо без них стало старым и голым. — Оно пришло по нашему приглашению и делает ровно то, о чём мы попросили. Поэтому не стреляйте в него — в него нельзя выстрелить. Можно только отозвать приглашение. Если мы ещё помним, как звучит наш собственный голос, когда мы говорим «нет».

— Что он несёт, — сказал в телевизоре другой голос, за кадром. Экран мигнул: включились местные. Майор Гушин, начальник над тем, что осталось от районного порядка, стоял у своей «буханки» с сорванным голосом. — Никаких инопланетян. Идёт эвакуация. Паникёров и провокаторов задерживаем. Гражданин Лем, если вы меня слышите, вы сеете панику по федеральному каналу, и я лично...

По другим каналам шло вперемешку: очереди на заправках в три кольца, пустые полки, кто-то бежал в горы, кто-то в церковь; президенты одиннадцати стран записали обращения, и все одиннадцать обещали, что ситуация под контролем, стоя перед картами, где контроля не было ни пятна. За три дня мир перепробовал всё, чем привык встречать беду, и беда не заметила ни одной из попыток.

И всё это время беда не стояла на месте. Сначала брали скот, косяки рыбы, пасеки — целыми полями, аккуратно, край за краем. Потом пошли звери из леса. Потом — то, чего район ещё не видел, но о чём кричали чужие сводки: там, в больших городах, свет поднимал уже не только стада. Диктор произносил «единичные случаи среди населения» ровно тем голосом, каким говорят «отдельные перебои с электричеством», и от этого ровного голоса Нина впервые испугалась по-настоящему — за мальчика за стеной.

Нина выключила звук. За стеной Сеня перематывал что-то на телефоне — она узнавала этот дробный, нервный звук касаний. Тридцать восемь секунд, взад-вперёд. Она подошла и, не постучав, открыла дверь.

— Ложись, — сказала она. — Утром решим, что делать.

— Он сказал «мы», — Сеня не поднял головы. — Слышала? Лем сказал: смысл, который вложили в него мы. Тётъ Нин, это мы его позвали?

— Никто никого не звал. Спи.

Она сама не верила в то, что говорила. Но у неё была система, и система требовала, чтобы мальчик спал, ел и не выходил, — и тогда всё как-нибудь пересидится.

Ночью она не спала — слушала. Дом наполнился звуками, которых прежде не замечала: как тикают вокзальные часы Марины, как за стеной ворочается мальчик, как далеко, за лесом, стоит над миром то, что не издаёт ни звука и потому слышнее всего. Под утро она снова включила телевизор без звука. Лема больше не показывали — вместо него по одному каналу говорил незнакомый человек в светлом, спокойный до странности среди общего крика. Титр под ним гласил: «К. Званцев, движение „Принявшие“». Он улыбался и что-то мягко, беззвучно объяснял, и люди в студии кивали, и Нине от этой улыбки стало холоднее, чем от всех сводок. Так улыбаются, когда уже решили за тебя. Она не прибавила звук. Она ещё не знала, что через неделю будет знать это лицо наизусть.

Наутро Нина заклеила окна.

Она не смогла бы объяснить, зачем, — скотч не держит того, что поднимает коров с земли, — но руки требовали дела, а дело успокаивало. Она заклеила окна крест-накрест, как перед бомбёжкой из старого кино, снесла в погреб воду и консервы, вынула из машины аккумулятор и занесла в дом, будто это могло что-то изменить. Сеня ходил за ней с телефоном и снимал, и это было единственное, чем он занимался третьи сутки.

Она знала за собой это движение рук — заклеить, снести, запереть, описать. Так она собирала себя после Марины: не плакать, а раскладывать. Горе она пересидела в перчатках, за процедурой, и теперь тем же способом бралась пересидеть конец света. Спрятать мальчика, задраить окна, дожидаться, пока всё замрёт, — и тогда сохранить то, что осталось.

— Ты не выйдешь, — сказала Нина, застав его у порога с кедями в руках. — Ни во двор, никуда.

— Я задыхаюсь.

— Задохнёшься на улице. Там сейчас... — она не знала, что там сейчас. — Там опасно.

— Ты меня в банку хочешь, — сказал он тихо, и слова эти вышли у него не зло, а очень точно, как выходит у тех, кто долго думал. — Как своих быков. В минус сто девяносто шесть, чтоб не испортился. Чтоб дождался лучших времён.

— Я хочу, чтобы ты был жив.

— Это не одно и то же. — Он поставил кеды к стене, аккуратно, и ушёл в комнату, и это его послушание было хуже любого скандала.

Так пошли дни, которые Нина потом не смогла разложить по порядку: они срослись в один долгий сумеречный день за крест-накрест заклеенными окнами. Она варила — он не ел. Она включала ему свет для уроков — он сидел в темноте с телефоном. Свет с улицы не менялся ни к утру, ни к ночи, и время в доме держалось только на вокзальных часах да на том, сколько раз она проверяла задвижку. Дважды в день она обходила дом, как обходят стойло с норовистой скотиной: окна, двери, погреб. Ей казалось, что, пока она обходит, ничего не случится. Ей вообще многое казалось в те дни. Сеня перестал говорить с ней совсем — только объектив следовал за ней по комнатам, красная точка, немой свидетель её обходов; и в этом было что-то, от чего сводило зубы: он не жил рядом с ней, он её архивировал.

Нина осталась в прихожей одна. За заклеенным окном стоял тот же ровный свет, к которому за три дня привыкли, как привыкают к боли, и в этом свете по коньку соседской крыши прошла зелёная рябь.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.